

© 2002 г. Т.М. НИКОЛАЕВА

**"СКРЫТАЯ ПАМЯТЬ" ЯЗЫКА:  
ПОПЫТКА ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМЫ\***

1. Идея существования разных видов языковой "памяти" в последние годы становится все более активной: говорят о "культурной памяти", об "исторической памяти", о памяти "генетической" [Яковлева 1998; Добродомов 2002]<sup>1</sup>. В настоящей статье я хочу обратить внимание еще на один вид языковой памяти, который я предлагаю назвать "скрытой".

Что же такое "скрытая память" языка? Как можно предположить, она существует в нескольких вариантах.

Первый ее тип. Описание его предлагается одновременно с позиций перцептивно-коммуникативных и с позиций метатеоретических. Более конкретно, речь идет о тех случаях, когда в речевом употреблении сосуществуют два как будто бы свободно заменяющихся в коммуникации варианта (лексемы, грамматические формы, синтаксические модели и т.д.) и при этом носитель языка не может ответить на вопрос, чем они различаются в употреблении. Не может на этот вопрос ответить и лингвист-кодификатор (т.е. в описании языка представлены только пометы вроде "вариант", "разг." и под). И только пристальное исследование большого массива данных позволяет выявить некоторую интерпретацию их различия, существующую в виде "тенденции", а не грамматикализованной обязательной модели. И эта интерпретация ведет к диахроническим исследованиям, иногда очень глубоким по хронологии. Отметим, что наблюдаемые тенденции обычно не сообщаются студентам-филологам, аспирантам, проще говоря, – не являются фактами обыденного научного знания.

Таким образом, в исследование вводится и фигура лингвиста-синхрониста. Личность носителя языка уже давно активно фигурирует в психолингвистике как особой области языкознания и даже является ее эпистемологическим центром. Введение в интерпретацию также и лингвиста представляется в настоящее время концептуально оправданным. Таким образом, в исследование можно ввести еще один компонент: это данные лингвистики же, т.е. показания-описания самих лингвистов. Правда, может существовать довольно осложненная ситуация, когда некие факты знает историк языка, но никак не соотносит с современным состоянием, не видя в нем рефлексов прошлого, и наоборот. Естественно, что когда "скрытая память" языка оказывается "раскрытой", она становится тоже фактом обыденного научного знания.

Другим обязательным для "скрытой памяти" первого типа феноменом может быть

\* Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: № гранта: 01-06-80-447 и проекта № 8877 сотрудничества Российской Академии наук и CNRS (Франция).

<sup>1</sup> Считаю необходимым сказать в самом начале статьи о том, что значительное большинство исследований – в особенности, зарубежных коллег, которые, судя по их названию, имеют непосредственное отношение к развиваемой здесь концепции и, возможно, ее и излагают, оказалось для меня абсолютно недоступным из-за организации работы в наших библиотеках. Поэтому я заранее приношу извинения потенциальным моим единомышленникам, работы которых известны мне только из библиографических сносок.

признана "наивная" (в буквальном смысле) реакция носителя языка (и даже филолога) в том смысле, что "можно сказать ведь и так, и так" или "а если вместо В сказать А, то ведь тоже будет правильно" и т.д. Иными словами, речь в этой нашей работе не идет о лингвистике, описываемой в строгих терминах "можно-нельзя", как это делалось в течение многих лет.

Чем же отличается излагаемая концепция от имеющего давнюю историю рассмотрения рефлексов диахронии в одном языке и генетических совпадений в нескольких? Тем, что подобные описания таких рефлексов, как, например, древних склонений типа *мать – матери, дочь – дочери*, – это не скрытая память. Описание диалектной дистрибуции Ъ на месте дифтонгов – это не скрытая память. Объяснение того, почему в одних случаях имеет место "беглая гласная" (*лоб – лба*), а в других – нет (*дом – дома*), это тоже не скрытая память. Почему? Потому, что лингвисты об этом знают и даже пишут в учебниках для филологов и в нормативных грамматиках. То есть, эти факты входят в обыденное научное знание.

В т о р о й т и п того же явления-феномена. Категориальные формы, например, у одной и той же лексемы, различает некий формант, который не воспринимается и не описывается как носитель какого-то самостоятельного значения. Между тем обращение к диахронии показывает, что значение именно этого форманта предопределяет описанные различия данных категориальных форм.

Т р е т и й т и п. Предполагается для синхронного состояния, что все языковые воплощения одной и той же единицы языка, лексемы, например, диктуются ее современным обликом. Переход к иному виду ее манифестации, воплощению на другом языковом уровне, неожиданно показывает, что возникает облик предшествующего "далекого" периода. Разумеется, будут приведены примеры на все указанные типы (думаю, что в случае признания моей гипотезы число таких примеров может все время увеличиваться). Нужно также сказать заранее, что наиболее сложным является решение вопроса в тех ситуациях, когда останется неясным, имеем ли мы дело со "скрытой памятью" или с универсалией диахронического плана. А именно – речь идет о содержательных категориях или о внутренней смысловой структуре сложных по составу лексем, которые (категории и смысловые структуры в их различии) остаются неизменными в течение многих лет или даже веков, но меняют свою лингвистическую "упаковку", как бы пробивая себе дорогу в новых обстоятельствах и рядясь в новые одежды.

Материалом в данной работе служат наблюдения коллег (со сделанной ранее оговоркой), мои собственные наблюдения и данные предшествующих моих или совместных со мной публикаций, которые не были еще рассмотрены с излагаемой здесь точки зрения<sup>2</sup>.

2.1. Приведем примеры на первый тип. На современном уровне развития языков бывают представлены два варианта употребления личного местоимения I лица в речи, то есть: местоимение опускается / местоимение наличествует<sup>3</sup>. К таким языкам выбора принадлежит современный русский. Например, *Люблю грозу в начале мая* (Ф. Тютчев), *Люблю тебя, Петра творенье* (А. Пушкин), но *Я люблю этот город вязевый* (С. Есенин). Подобная бифуркация обычно относилась к сфере "стилистики". Итак, всякий русский может сказать и – *Решил поехать в Конго!* – Почему? – *Люблю Африку!* и – *Я решил поехать в Конго.* – Почему? – *Я люблю Африку.*

В отличие от русского, в языках типа польского, испанского, итальянского местоимение как правило опускают (или не вводят) в нейтральной речи. Ср. польские

<sup>2</sup> Прежде всего я хочу поблагодарить моего неоднократного соавтора Ирину Фужерон, которая, обладая способностью видеть – в синхронии – содержательные различия там, где обычно видят только легко заменяемые варианты или вообще на эти различия не обращают внимания, во многом способствовала написанию этой статьи.

<sup>3</sup> Строго говоря, можно говорить и об обратном: местоимение вставляется / местоимение не вставляется. Это связано с вопросом о маркированном члене этой оппозиции.

*stuham; jestem dzennikarzem; nie pamiętam, gdzie ona mieszka.* Однако при противопоставлении и подчеркивании местоимение возникает также и в польском: *A ja od wczoraj mam urlop; ja również jestem dzennikarzem.* (Ср. это же и об испанском: "Личное местоимение в функции подлежащего обычно опускается, если нет противопоставления" [Васильева–Шведе 1948: 530]). В этом отношении интересными для нашей задачи были наблюдения Б. Нильссон о функциях эксплицитного местоимения в польских и русских высказываниях [Nilsson 1982]. Автор считает, что эксплицитный местоименный субъект – это "нормальная ситуация" русского языка, тогда как для польского "нормален" нулевой субъект, поскольку польский глагол "обеспечивает необходимую информацию для идентификации субъекта" [Nilsson 1982: 34–37]. Подробно описанная ситуация введения–невведения местоимения 1-го лица **АЗЪ** в старославянские тексты [Ефимова 2002] является тем наглядным диахроническим "отражением", глядя в которое, можно видеть, что современный русский находится как бы на полпути между старославянским и языками типа английского, французского и под.<sup>4</sup> Итак, при синхронном описании языка можно разделить на языки с употреблением личного местоимения и без<sup>4</sup>. Но необходимо при этом вспомнить, что такая оппозиция существует только в настоящее время: *stuham* и *я слушаю* воспринимается как форма без местоимения, противопоставленная форме с вынесенным личным местоимением, а исторически мы имеем право говорить о другой классификации: о языке с грамматикализацией местоимения слева vs. языки с местоимением справа, ибо, например, *-m* в том же польском *stuham* – местоименного происхождения.

Исторические разыскания, как оказывается, дают возможность найти "промежуточный" этап распределения таких местоименных показателей. Так, А.А. Зализняк [Зализняк 1995: 161] пишет, что "для 1 и 2 лиц в берестяных грамотах соблюдается следующий основной принцип: в нормальных случаях употребляется либо модель *даль есмь* (*виноватъ есмь*), либо модель *я даль* (*я виноватъ*), но не трехчленная модель *я есмь даль* (*я есмь виноватъ*)". Действительно, функциональное сходство показателей "справа и слева" для 1 лица на этом периоде русского языка ощущались живо и потому достаточно было только одного из них.

Однако, идя далее, нельзя пройти мимо того, что утверждавшееся выше положение о том, что на раннем этапе возникновения именных и глагольных парадигм языки формировали их путем присоединения (справа – в нашей современной терминологии) местоимения или местоименного "остатка", – это вопрос, по которому литература существует огромная и, судя по библиографическим данным сегодняшнего дня, вопрос этот активно обсуждается и в самые последние годы<sup>5</sup>. Обобщая, можно сказать, что представлены две точки зрения (и, соответственно, две научных школы). По одной из них, словоизменительные флексии – как глагольные, так и именные – возникли из местоименного характера добавок, которые одни считают местоименными частицами, дейктическими частицами и т.д. Важно, что в этом случае речь идет о соединении двух значащих, т.е. имеющих свою семантику, компонентов. Например, уже К. Уленбек в 1901 г. отметил, что показатель субъекта *-s-*, по-видимому, является постпозитивным артиклем, восходящим к местоимению *-\*so*. А. Эрну [Эрну 1950] прямо возводит окончания именительного и родительного множественного числа

<sup>4</sup> Разумеется, предлагаемая классификация является сильно упрощенной. Так, например, при отрицании во французском разговорном языке местоимение опускается: *Je sais – Sais pas*. И все-таки видно, как "свой" язык коммуникации влияет даже на самых великих лингвистов, начинающих считать обязательным только "свое". Так, например, Э. Бенвенист, говоря о том, что в научном трактате *я* и *ты* могут не встречаться, пишет, что "трудно вообразить даже короткий разговорный текст, где бы эти местоимения не были употреблены" [Бенвенист 1974: 286].

<sup>5</sup> Так, судя по общим библиографическим источникам, много работ о происхождении и.-е. флексий написано К. Шилдсом (K. Shields), но для меня пока они оказались недоступными, кроме статей [Шилдс 1988; Shields 1997; 1998].

второго и первого склонений латинского имени к указательным местоимениям [Эрну 1950: 49]. Таким образом, полагают, что флексии – это, как правило, застывшие местоименные (или вообще – партикулярные) элементы. Подробно эта идея излагается А.Н. Савченко в специальной монографии [Савченко 1960]. Как он считает, первое лицо глагола связано через окончание с личным местоимением, а второе и третье – с местоимениями указательными: \**so*/\**to*. Комплекс "основа + флексия" обычно бинарен, но в действительности местоименный компонент может пронизывать более протяженные отрезки. Так, Ю.С. Степанов, автор важной теории "длинного компонента" пишет: "В современных индоевропейских языках повторяющимся элементом обычно служат разнородные члены синонимического ряда... В древних индоевропейских языках повторяющимся элементом часто является какая-либо специальная дейктическая частица... \*1. *-v*/\**ll*-*m*; \*2. *-t*; \*3. *-n* – дейкисы трех лиц – участники акта речи" [Степанов 1989: 73]. В. Шмальштиг, обсуждая еще более далеко ведущую идею П. Кречмера о том, что и.-е. не-презентные глагольные форманты *-s*-, *-t*-, *-v*-, *-k*- были первоначальными показателями глагольного объекта, высказывает мысль о том, что форма *media* на \**-to* "есть в действительности дейктическое местоимение \**-to*, присоединенное к корню, как правило в нулевой ступени" [Шмальштиг 1988: 267] и далее: "я остановлюсь на различных формах местоимений и на том, как они постепенно превращались в глагольные окончания" [Шмальштиг 1988: 275].

Строго говоря, положение о "местоименности" глагольных флексий есть чистая условность описательности: более точно, нужно говорить о том, что и местоимения, и глагольные флексии восходят к общему для них протоэлементу, являющемуся как правило дейктическим показателем (см. такую точку зрения [Shields 1997]). Подобный взгляд восходит к той точке зрения на реконструируемый и.-е. язык (the new image of I.-E. morphology), согласно которой первый этап развития и.-е. языка не был флективным, а на синтаксическом уровне – соединялись компоненты диффузной семантики. Частицеобразные партикулы при этом объединялись в ансамбли разных семантических оттенков<sup>6</sup>. Эта точка зрения вполне разделяется автором настоящей статьи.

Согласно другой школе, показатели именуется "расширителями", "формантами", "аргументами" и т.д. И вопрос о наличии у них первичного автономного значения не то, что бы отрицается, но и не ставится. Например, И.М. Тронский категорически осуждал в указанной выше книге А. Эрну идею "местоименности" глагольных и именных флексий<sup>7</sup> и в своей собственной книге [Тронский 2001] говорит о флексиях только как о "личных окончаниях".

Существенно, что принимая тезис о местоименно-партикулярном возникновении словоизменятельных флексий, мы не можем пройти мимо и той идеи, что и в самой глубокой древности вынесение в начало местоименного компонента (в виде полного и/или ударного) означало его подчеркивание, противопоставленность. Идеи этой придерживались многие историки языковой древности. Вариантом того же можно считать постпозитивное употребление так называемых кратких, или энклитических, форм местоимений в противопоставлении "полным" формам. За "полными формами" сохранялось употребление в эмфатической функции, т.е. подчеркивания и/или противопоставления: "Наряду с полной парадигмой ударных форм существует неполная парадигма энклитических форм" [Елизаренкова 1982: 241]; "Энклитические формы личных местоимений употребляются в тех случаях, когда не делается смыслового акцента на категорию лица (так они не употребляются при противопоставлении граммы одного лица другому, а также с эмфатическими частицами)" [Елизаренкова 1982: 243].

<sup>6</sup> Подробный анализ таких комбинаций для берберских языков см. [Аллаона 1997].

<sup>7</sup> См. примечание И.М. Тронского к с. 30 книги А. Эрну (раздел "Окончания") «Теория "местоименного" происхождения окончаний именительного и родительного падежей множественного числа в первом и втором склонениях, предположение об исконной долготе *dm* в родительном падеже множественного числа вызывают серьезное сомнение» [Эрну 1950: 30].

Скрывается ли какая-нибудь содержательная категория за современным различием (языки с местоимением и без него)? Как объяснить это различие в употреблении людям, изучающим русский язык? Этому вопросу посвящено уже несколько работ Ж. Брейяра и И. Фужерон [Брейяр, Фужерон 2001; Breuillard, Fougeron 2001]. У авторов этих статей существует несколько концептуальных соображений по вопросу выбора/невыбора местоимения. Так, *Я* всегда ставится в предложениях с противопоставлением, вводимым через *А*, так что практически как бы возникает слитный комплекс *АЯ*, который орфография, правда, не допускает. Ср. *Говорите с моим отцом сами, а я не стану* (А.П. Чехов): \**Говорите с моим отцом сами, а не стану*. *А*, требующее обязательного *Я*, может быть представлено и не в контактном комплексе *АЯ*. Например, *Прогуляемся по течению верст пять-шесть, потом я останусь, а вы вернетесь* (Домбровский). Здесь дистантное противопоставление представлено в одном высказывании. Оно может быть и в двух простых: *Ведро твое в кухне стоит – я в нем не мою. А Панька моет* (И. Грекова).

*Я* употребляется при наличии внутри высказывания других местоимений<sup>8</sup>. Но *я хотела, чтобы он, отбывая наказание, знал, что я его жду, что он мне нужен* (А. Маринина). *Я* употребляется при наличии противопоставления, хотя бы выраженного и не через *А*, вообще – любого эксплицитного противопоставления. Противопоставление может быть достаточно развернутым: *...Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего двадцать три рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура* (А.П. Чехов). Оно может быть вызвано переменной топика. Так, Треплев после развернутого монолога о кризисе искусства и одновременной критики матери-актрисы говорит: *Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно (Смотрит на часы). Я люблю мать, сильно люблю, но она ведет бесполовую жизнь...* (А.П. Чехов). Здесь введение *Я* демонстрирует несогласие с возможным выводом дяди (Сорина) о том, что Треплев просто не любит мать.

Именно такую аналогичную ситуацию отмечает для польского и Б. Нильссон: эксплицитные местоимения характеризуют конструкции противопоставленные (*adversative constructions*), даже и при отсутствии соответствующих союзов [Nilsson 1982: 54].

Напротив, существуют коммуникативные штампы, в основном публично-этикетного характера, когда *Я* как раз не употребляется. Например, *Объявляю заседание открытым; Прошу разойтись; Стреляю; Считаю выборы не состоявшимися* и под. В этих случаях подобные реплики обычно принадлежат Начальнику (Председателю) или другому "облеченному" лицу. *Слушаю вас, – важно заметил мэтр неожиданно высоким тенорком* (А. Маринина). Но можно сказать *Прошу слова* и *Я прошу слова*. В чем разница? Юному русскому, пожалуй, объяснить ее трудно. Нашему поколению довольно просто. *Прошу слова* обычно говорил человек, о выступлении которого было как правило известно заранее, а *Я прошу слова* – часто бывало неожиданностью: *Ну, что там у вас? Вы, имя рек, чего хотите? – Я прошу слова*.

Последний пример подводит нас к интерпретации тех случаев, когда выбор возможен. Анализ русских высказываний с *Я* и без *Я*, рассмотренных в их связи с предыдущим контекстом, как явным, так и имплицитным, показал, что содержа-

<sup>8</sup> Интересно, что для старославянских текстов В.С. Ефимова подобных случаев не отмечает [Ефимова 2002], тогда как употребление местоимения при *А* и/или противопоставлении в них практически обязательно. Это значит, что в диапазоне употребления *Я* есть устоявшиеся семантические универсалии, требующие обязательного воплощения, и грамматикализованные – возможно, в каждом языке индивидуально – поверхностно-синтаксические комбинации.

тельной категорией, определяющей употребление личного местоимения, является **согласие/несогласие с горизонтом ожидания Другого**<sup>9</sup>. Этим Другим в принципе может быть и сам коммуникант. *Люблю хороший чай!* – восклицает человек, приступая к чаепитию. Это он говорил уже не раз (возможно, и самому себе). *Я люблю хороший чай* может сказать он же, объясняя гостю, почему чай заваривается так долго<sup>10</sup>. В самых простых диалогах на вопрос *Ну, ты идешь?* возможен ответ *Иду-иду*, т.е. конечно, иду, или *Я иду* (возможно, с некоторой раздраженной интонацией; *ты думаешь, что я копаюсь, а я иду*).

В диалогах вполне возможно несколько высказываний от первого лица, но в одних есть *Я*, а в других – нет. Например, посмотрим на диалогический фрагмент из повести И. Грековой (приведен в работе [Брейяр, Фужерон 2001]):

– *Марианна с минуты на минуту должна вернуться Я звоню без нее чтобы не причинять лишней боли Понимаешь?*

– *Понимаю.*

– *Я теперь должен быть здесь Может быть долго к тебе не приду Может быть совсем Понимаешь?*

– *Я все понимаю*

Первый пример: *Я звоню* – имплицитное противопоставление *ей*. Второй – *Понимаю*: это коммуникативное согласие в пределах микроконтекста, двух реплик Третий: *Я все понимаю* можно трактовать как: "Я понимаю гораздо больше, чем ты думаешь и хочешь сказать".

В монологе одного и того же человека *Я*-конструкция может сменяться конструкцией без *Я* и это будет выражение подтверждения, согласия с самим собой в функции Другого. См. у А.П. Чехова: *Нина Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего. Я люблю его Я люблю его даже сильнее, чем прежде Сюжет для небольшого рассказа . Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю*

Известно, что именно *Я*-конструкции в большинстве европейских языков передают именно подчеркнутость, противопоставленность, т.е. *Я-а-не-Другой*.

Это противопоставление подчеркнутости/неподчеркнутости, нейтральности, легко увидеть в монологах в пьесах. См. у А.П. Чехова ("Чайка"):

*Аркадина (Маше) Вот встанемте. . Евгений Сергееч, кто из нас моложеве?*

*Дорн Вы, конечно*

*Аркадина Вот-с. . А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите все на одном месте, не живете*

Аркадина полемизирует с Машей, с ее стилем жизни. А вот Тригорин описывает свою жизнь Нине, не полемизируя с ней, а ища внутреннего согласия, понимания: *..каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть Вижу вот облако, похожее на рояль Думаю. надо будет упомянуть где-нибудь в рассказах, что плыло облако, похожее на рояль Пахнет гелиотропом Скорее мотаю на ус приторный запах, вдовий цвет, упомянуть при описании летнего вечера Ловлю себя и вас на*

<sup>9</sup> Этот вывод принадлежит Ж. Брейяру и И. Фужерон.

<sup>10</sup> Метатеоретическим подкреплением этого положения можно считать интересные в теоретическом плане данные Й. Хельмбрехта [Helmbrecht 1999] о принципиальной противопоставленности 1-го лица остальным лицам. Эту изначальную противопоставленность он прослеживает на материале самых различных "экзотических" языков современности. Важно и то, что он подчеркивает "идиорефлексию" говорящего. "Только говорящий сам знает все о себе и может не сомневаться в своих ощущениях и реакциях" [там же: 295]. Диахронические данные – в частности, как показывает Й. Хельмбрехт то, что категория рода связывается с 1 лицом не первоначально, ибо говорящий сам знает, какого он пола, – снимает часть возражения лингвистов "парадигматической ориентации" о том, что все 3 лица нужно описать в их дискурсивной установке как единую модель

каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую – авось пригодится!

Ориентация на горизонт ожидания собеседника связана не только с подтверждением/неподтверждением его мнения (ожидания), но и, естественно, с введением в коммуникацию принципиально **нового** по информации сообщения<sup>11</sup>. Поэтому абсолютно инициальное сообщение – начало романа или повести, например, часто начинается с Я-конструкции. При этом Я может возникнуть и при рассказе о будущем своем поведении – *Ты не забыла, как нужно отвечать на вопросы? – Нет, я помню Я не вмещаюсь в политические дела мужа, мое дело – хранить семейный очаг и быть тебе крепким тылом, а твоя первая жена меня не интересуется Я прекрасно готовлю, умею принимать гостей, собираюсь родить тебе не меньше трех детишек* (А Маринина)

Прежде чем перейти к более общим построениям, необходимо обсудить две лингвистических сущности: в плане выражения и в плане содержания. Первое. Какова семантика "вынесения" лингвистической единицы вперед, ближе к началу высказывания? Существуют ли на этот счет устоявшиеся лингвистические воззрения? Да, существуют. Передвижение элемента ближе к началу (более "слышному" перцептивно-акустически) всегда связывается с его подчеркиванием, неким прогивопоставлением чему-то другому. Еще А. Мейе писал как об общем для и.-е. языков положении, что "греческий язык лучше всего сохраняет индоевропейский обычай ставить на первом месте главное слово" [Мейе 1938: 369].

Второе. Что, собственно представляет собой, глядя из прошлого, русское Я? Относительно него мы имеем прямое высказывание в ЭССЯ [ЭССЯ. Вып. 1:101], где говорится о факте "несомненно эмфатического употребления и.-е. \*egom" (то есть Я. – ТН), что не позволяет никак (такие идеи были) приписывать ему древнее влияние со стороны личных форм глагола.

Как показывает этимологический анализ [ЭССЯ. Вып. 1: 100–103], Я [ja] соотносится с аналогичной формой (идентичной?) во всех славянских языках: ст.-сл. азъ, болг. аз, макед. јас, чеш. ја и т.д. Более широко оно связано с др.-инд. ahām, авест. азэп, арм. es, лат. egō, греч. εγω, лит. аš и т.д. Односложную форму русского ја Р. Якобсон объяснял как моносиллабический вариант двусложного јазъ. Говоря кратко, судя по данным ЭССЯ, актуальными проблемами для интерпретации этой формы являются: сведение воедино функционально инициального е и а, реконструкция консонанта. eg или eg(h), а также возникновение начального j (или его исчезновение). Последний пункт тоже очень интересен. В указанной статье в ЭССЯ О.Н. Трубачев полагает, что j как вставка возникло, чтобы избежать зияния, так как очень частой в речи была конструкция с А (см. современные русские примеры) и тогда было бы а + а > aa (то же выяснилось и в устной беседе с О.Н. Трубачевым). Однако возможно предположить, что \*j-восходит здесь к релятивному форманту, соединяющему части высказывания<sup>12</sup>. Важное для нашей концепции дополнение находим и в статье К.Г. Красухина [Красухин 2001]. См. у него: "Частица o/jo, стоявшая в начале предложения (колона) в крито-микенских текстах, обладала сильным фразовым ударением. Это не морфема генитива, а частица, функционально подобная \*de, т.е. выражающая **противопоставление предшествующей конструкции** (выделено мною. – ТН) и направленность на последнее сообщение" [Красухин 2001: 129].

<sup>11</sup> Именно поэтому существенно наблюдение В.С. Ефимовой [Ефимова 2002: 3–7] о том, что в евангельских текстах с азъ начинаются реплики Христа, несущего **новую** весть, также с азъ вводятся реплики самоидентификации, столь характерные для евангельских текстов

<sup>12</sup> Так, еще Я Гонда говорил о том, что относительное местоимение \*jo имело и чисто разделительный характер [Gonda 1954–1955: 1].

В целом же О.Н. Трубачев склоняется к идее метатезы: \*jъza < \*azъ, объясняющей происхождение этой формы. Но сейчас более существенно для нашей работы его утверждение о том, что Я возникло как свернутое во времени выражение – оборот: \*egom < \*e + go + me 'вот я' ('It is me'). Итак, Я в первоначальном употреблении – это вынесенный вперед катафорический местоименный комплекс. Но нужно сказать, что после работы над книгой о частицах [Николаева 1985], не зная о более раннем выводе О.Н. Трубачева, я пришла к мысли о том, что Я представляет собой свернутый оборот: 'вот + он + я' [Николаева, 1986]. Согласно этой моей гипотезе, исходный вокализм E/A трактовался как начальная частица-приступ (как э- в э-то), а консонант g/z- относился не к частице, а к третьему лицу глагола как jego, m- показатель первого лица. То есть, предлагалась реконструкция 'это + он + я'. Интересно, что подобное выражение, сходное по семантической структуре, но не идентичное лексически, а именно вот он(а) я, я вот он(а) и сейчас используется русскими как реплика-ответ на вопрос А где X?, хотя у школьников подобный ответ как правило пресекается.

Несколько иные идеи высказаны О. Семереньи [Семереньи 1980: 231], который, рассматривая корреляцию начального \*egō/eg(h)om/-\*em-/m, пришел к выводу, что личным окончанием глагола было именно -m, а не eg(h), так как -m было более ранним. "Следовательно, значащим элементом в номинативе является не \*eg(h), а -om; \*eg(h) – это элемент, который в качестве префикса присоединялся к местоимению \*em". Действительно, многие категориальные формы, связанные с I лицом, имеют в составе прежде всего -m, например, m-ой. Эта форма была иначе интерпретирована В.Н. Топоровым (ср. [Топоров 1992] и более поздние его работы). Обращаясь к этой форме, реконструируемой им как \*eg'hom, он пишет: "и.е. eg'hom, как бы его ни членить... состоит более чем из одного элемента, из двух по крайней мере" [Топоров 1992: 131]. Соглашаясь с тем, что первым элементом является дейктический элемент (\*e-, \*H'e-, \*H'ei-, \*H'i и т.п.), а вторым – усилительная частица (\*-g'h-, \*-gh-), он основное внимание уделяет последнему элементу с -m, развивая далее идею совместного существования в синтагматике этой указанной формы и формы \*men-, которое выступает в родительном падеже и обычно трактуется как супплетивное образование для косвенных падежей местоимения I лица. Это \*men в свою очередь соотносится В.Н. Топоровым с корнем "общементального" значения, "тонкой духовной субстанции", (противопоставленном ты, соотносимом с субстанцией более грубой). Тем самым, по концепции В.Н. Топорова, сначала, в виде интродукции, вводится 'вот моя здешность', то есть вот я, а затем это я поясняется через \*men-, то есть я атрибуется.

Очень интересно, что с выводами В.Н. Топорова можно соотнести недавние наблюдения Г.А. Золотовой [Золотова 2000] о том, что в русском Мне хочется (которое рассматривается ею в противопоставлении с Хочется) мне является полноценным субъектом высказывания, но выражающим не активное действие, а "инволютивную маркированность" [Золотова 2000]. Более того, утверждения Г.А. Золотовой интересно сравнить со специальной работой, где прослеживается социолингвистическая история двух конструкций I think и Methinks [Palander-Colin 1998] в среднеанглийском и на раннем этапе современного английского. Автор приходит к выводу, что I think как более категорическое высказывание свойственно "элитарным" слоям населения, а более колеблющееся по решительности Methinks употребляли в основном купцы и более низкие слои. То есть эти выводы полностью совпадают с положениями Г.А. Золотовой о волютивной и инволютивной маркированности.

Однако и до сих пор общепринятым является положение о "супплетивности" склонения местоимения I-го лица, когда эта форма \*men/man считается принадлежащей только генитиву. См. у Д.И. Эдельман: «Такие (посессивные. – Т.Н.) конструкции



строились по модели оборотов, зафиксированных в древнеперсидском: *\*ima...mana // mai kartam (asti)* "это сделанное у меня есть". Здесь по мнению автора, логический субъект выражен генитивом местоимения 1 лица *mana* [Эдельман 2001].

Но для нас существенно наличествующее практически во всех указанных работах утверждение о "композитном устройстве" нашего Я, которое – первоначально – подчеркивало активное объявление "сиюминутности" и актуальности делаемого заявления. С этим сопоставляется и анализируемая К. Шилдсом [Shields 1998] первоначальная структура другой и.-е. формы 'Я', восходящей к хеттскому *uk* и затем продолженной в германских языках, многое в местоименных формах которых К. Шилдс считает реликтовыми. Форму *uk* К. Шилдс объясняет как контаминацию уже "ослабленного" первоначального дейксиса \*и с дейктической частицей \**k(e/o)*, "обладающей значением 'here and now'" [Shields 1998: 46]. То есть это тоже первоначально композитная форма, с тем же самым значением, что и форма Я. По нашему мнению, это тот сложный пограничный случай, когда трудно отличить "скрытую память" от семантической диахронической универсалии.

Таким образом, начальное высказывание без Я носит характер интимизации, доверительного подтверждения где-то ранее высказываемой идеи, возможно даже и прежних собственных размышлений. То есть именно такова семантика фраз *Люблю грозу в начале мая* или *Люблю тебя, Петра творенье*. Напротив, С. Есенин предполагает, что кто-то может не любить его город, и сам понимает, почему: *хоть обрюзг он и обдряб*, но настаивает: *Я люблю этот город вязевый...*

Заканчивая обсуждение этого примера, хочу подчеркнуть идею, что высказывание с Я при глаголе как бы "помнит" первоначальную давнюю функцию Я быть интродуктивным компонентом, вводящим новое, не присоединяющееся к предыдущему и – тем самым – часто ему противопоставленное высказывание, что в настоящее время для слова Я никак не фиксируется и нигде об этом в нормативных грамматиках не сообщается.

2.2. Другой пример. Если обратиться к современным описаниям русского языка и посмотреть, говорится ли в них о каком-либо принципиальном различии союзов *хотя* и *хоть*<sup>13</sup>, то обнаруживаются три варианта квалификации их соотношения: 1) *Хотя (хоть)* – это значит, что обе лексемы объявляются полностью синонимичными; 2) *Хотя* (разг. *хоть*) – в этом случае *хоть* квалифицируется как стилистический (или стилистико-функциональный) вариант *хотя*; 3) *Хотя, хоть* – это перечисление через запятую сообщает как будто бы о некоем их различии, но само оно не сообщается.

Действительно, *хотя* и *хоть* кажутся вполне взаимозаменяемыми, с учетом того, что *хотя* гораздо более частотно в употреблении<sup>14</sup>. Однако, если рассмотреть большой массив примеров, то становится очевидно, что в одном случае, скорее, будет сказано *хоть*, а в другом, скорее, *хотя*. Например, *Хоть вы и поступили со мной по-свински, но я не сержусь* (вряд ли *хотя*); *Он подолгу оставался на работе, хотя у него и дома был компьютер* (вряд ли *хоть*); *Она какая-то неинтересная, хоть и красавица* (скорее, *хоть*); *Я продолжал бежать, хотя силы уже иссякали* (скорее *хотя*).

Напрашивается гипотеза, что *хотя* предпочитает появляться при описании параллельных акциональных процессов, состояний или поступков. В свою очередь *хоть* связывается уже с иным распределением временного статуса. Оно возникает, когда высказывание передает некий известный или достаточно стабильный статус явления:

<sup>13</sup> Излагаемые далее соображения опираются на материалы статьи автора совместно с И. Фужерон [Николаева, Фужерон 1999].

<sup>14</sup> Кроме того, различны и ритмические возможности этих двух слов. Например, *Хоть видит око, да зуб неймет*. Здесь очевидно, что выбор лексемы диктуется ритмом.

статус сегодняшнего дня (но не актуальное действие); наконец, действие, обращенное в прошлое или в будущее.

С этой точки зрения мною были просмотрены примеры из существующих "академических" грамматик русского языка, где примеры на *хотя* и *хоть* даются обычно вперемешку. Оказалось, что выдвигаемая гипотеза вполне "работает". Приведем несколько таких примеров. *Я обрадовался, увидев родной город, хоть он и был неласков ко мне* (Ф. Шаляпин). Здесь *хоть* соотносится с известным прошлым состоянием; *Вы хоть и мастер угадывать, однако же ошиблись* (Ф. Достоевский) – в этом примере передается известный и постоянный статус актанта; *Иван Стенанович, хоть и был инструктором по спорту на этой гимназической площадке, был все же в преподавательском персонале и ходил в учительской тужурке и фуражке* (Ю. Олеша) – и здесь идет речь о постоянном статусе персонажа. Приведем несколько примеров на *хотя*: *Учился он порядочно, хотя часто ленился* (И. Тургенев) – передается одновременность протекания акциональных процессов; *Мой репертуар стал мне казаться заигранным, неинтересным, хотя я и продолжал работать, стараясь внести в каждую роль что-то новое* (Ф. Шаляпин) – также описываются два одновременно протекающих процесса.

Чему же соответствуют *хотя* и *хоть* в истории русского языка? Мне была предоставлена возможность воспользоваться материалом Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв. Института русского языка РАН. Материал показал, что анализу должны подлежать не два слова, как в современном русском языке, а три: *хотя*, *хоть*<sup>15</sup> и *хоти*. В статье [Николаева, Фужерон 1999] приводится много примеров из Картотеки на употребление этих трех слов, включая и ситуации, когда эти лексемы имеют разнообразные распространители (*бы*, *и*, *будетъ* и т.д.), но сейчас важно привести примеры на передачу акциональных соответствий–несоответствий<sup>16</sup>:

*хоти*:

а нынѣ тебѣ не тово, хоти еси добръ силенъ и крѣпкаго ѹмыслѹ;  
и бояре и дьяки говорили: хоти госѹдарь вашъ въ то время еще на госѹдарстве не былъ, да в томъ лихово нѣтъ ничего;  
и говорить де, хоти имъ всѣмъ помереть, а за ѹзовъ стоять крѣпко.

*хотя*:

привыльнѣе хлѣбъ ясть хотя не хочется, нежели словъ лживыхъ слѹшать;  
себе ѹжъ хотя воняю, да иныхъ не соблазняю;  
много и нынѣ такихъ, что много обѣщаютъ, а мало даютъ, хотя и кѣдаютъ, что на торгѹ слова не продаютъ.

Итак, судя по древнерусским данным, *хотя* и *хоти* также различают корреляции акциональных действий: *хотя* соединяет одновременные события, *хоти* же связывает ситуации, разные по совершаемости и акциональному статусу. *Хоти*, судя по своему функциональному статусу, совпадает с современным *хоть*, которое его и вытеснило.

Причем тут тема "скрытой памяти"? Дело в том, что *хотя* по своему происхождению – деепричастие, а *хоти* – форма императива от *хотети*. Естественно, что деепричастие сохраняет, преобразившись в союз-частицу, свойство связывать одновременные события, оно "помнит" свое происхождение. *Хоть* же "помнит" свое недеепричастное происхождение, что легко обнаруживается в выражениях типа *хоть стой, хоть падай; хоть умри; хоть удавись, хоть святых выноси* и под., где нельзя употребить *хотя*. Здесь, возможно, выступает отмеченное неоднократно свойство

<sup>15</sup> Небезынтересно, что именно число примеров с *хоть* явилось минимальным

<sup>16</sup> В нашей передаче оставляется графический облик материала, сохраняемого в Картотеке.

русского языка образовывать глагольные дублеты вроде *пойди возьми; возьми съешь; пойду скажу* и т.д.

2.3. Что может способствовать вытеснению "скрытой памяти" из языкового существования? Разумеется, это всеохватывающий языковую систему процесс грамматикализации, когда уже о двух равно бытующих вариантах становится говорить невозможно. В этих случаях "скрытая память" может еще обнаруживаться в субязыковых вариантах: диалектах, особых стилях и т.д.

В этом отношении интересный и свежий материал содержится в статье А.И. Рыко [Рыко 2000], исследовавшей дистрибуцию окончаний 3-го лица презенса в Северо-Западных русских говорах. По ее данным, нулевая флексия презенса противопоставлена в этих говорах флексии 3 лица презенса с *t'* или *t'*<sup>17</sup>. В работе приводятся очень много фактических данных, свидетельствующих об отсутствии грамматикализации и выбора точного варианта: у одних информантов количественные предпочтения одни, у других другие. Имеет место и свободная замена одного варианта другим. Меняются количественные показатели и от деревни к деревне. Однако тенденция их функционального распределения явно пробивает себе дорогу среди свободы варьирования. То есть это та именно ситуация, которая, как было сказано вначале, характеризует явления "скрытой памяти". Какова же та тенденция, которую подметила А.И. Рыко? (см. особенно таблицу [Рыко 2000: 129]). Выводы автора таковы: "применительно ко всем этим системам можно говорить о противопоставлении актуальных и неактуальных значений презенса, причем актуальные значения характеризуются преимущественным употреблением флексии *-t*, а неактуальные – преимущественным употреблением флексии *-∅*". Что же в данном случае "помнит" каждый из этих двух вариантов? Глядя на данные А.И. Рыко и обращая внимание на "маркированность" в ее работе слова "актуальное" для презенса с ненулевой флексией, мы можем сделать вывод, что это *-t* является местоименным дополнением к глагольной форме именно дейктического характера, подтверждающим "здесь и теперь" совершаемого действия<sup>18</sup>. В литературном русском языке и других диалектах произошло обобщение этих двух вариантов презенса и их унификация, а диалекты описанного А.И. Рыко региона это различие "помнят"<sup>19</sup>.

3. Второй подвид "скрытой памяти" языка, как указывалось, это та ситуация, когда категориальные формы, например, одной и той же лексемы различаются при помощи некоего форманта, который уже не воспринимается и не описывается сейчас как носитель какого-то самостоятельного значения. Между тем обращение к диахронии показывает, что значение именно этого форманта предопределяет различия категориальных форм и что семантика этого форманта еще жива и язык ее помнит, хотя и в другой "упаковке".

В многочисленных исследованиях русского (и славянского) неоднократно отмечалось, что в рамках категориальной семантики совершенного вида выделяются два

<sup>17</sup> Исследовательница считает твердое *-t* позднейшим субститутом *-t' < tь*.

<sup>18</sup> К сожалению, большая, судя по общим Библиографиям, литература по этому вопросу последних лет оказалась для меня недоступной. Более ранняя литература обсуждается в работах Вяч.Вс. Иванова [Иванов 1979; 1979а; 1989 и др.]. Интересные соображения высказаны в исследовании Т. Поленовой [Поленова 2000] о совпадении в местоименности флексий в индоевропейских и енисейских языках. Она, в частности, отмечает: "Представляется возможным предположить развитие личных аффиксов глагола как в енисейском языке, так и в индоевропейском из первичных дейктических частиц с широкой семантикой" [Поленова 2000: 162]. Близки к этому и идеи о параллелях в индоевропейском и картвельском, изложенные К.Х. Шмидтом [Шмидт 1995].

<sup>19</sup> Безусловно, наличие двух этих вариантов является древнейшим явлением в и.-е. языках: отсутствие уверенности в своей подготовке заставляет меня с большой осторожностью встать на "логическую" точку зрения, согласно которой первичной формой и должна была стать форма с нулевой флексией (как аналог *casus indefinitus*), а укрепление местоимением могло быть только результатом более позднего развития содержательных синтаксических категорий.

значения, которые Г А Золотова называет 'аористив и 'результатив [Золотова 2002]<sup>20</sup> Действительно, исчезновение аориста из системы русских глагольных категорий не привело к исчезновению его семантики, хотя элемент результата, перфектности, и оказывает на него некоторое подавляющее воздействие утрачивается компонент сиюминутности, неожиданности' происходящего Так, интересно было услышать замечание одного европейского (и православного) русиста о том, что при замене *Христос воскрес!* на *Христос воскрес!* "русские утратили ощущение чуда", поскольку за формой *воскрес* может теперь стоять длительный процесс с объявленным результатом Естественно, что аористная семантика соотносится с соответствующей формой и греческого языка В формах греческого языка инициальным компонентом аориста и имперфекта является аугмент  $\acute{\epsilon}$ -, который в настоящее время преподается как чисто грамматический формант Однако в свою очередь этот формант Вяч Вс Иванов, вслед за К Уоткинсом, предлагает отождествить с инициальной частицей *\*e/o* (в палайском и других языках отраженной как *\*a*) Вяч Вс Иванов разбирая инициальные комплексы в и-е языках, дополняя эту мысль К Уоткинса и широко привлекая славянский материал [Иванов 1979], показывает соответствие этого (ударного!) аугмента указательной инициальной частице (ударной и сейчас! – *ТН*)  $\acute{\epsilon}$  в словах *э-то, э-тот* и т д Таким образом, аорист и унаследованная от него семантика в современном совершенном виде "помнит" в греческом свою ударность а в славянских языках тоже свое "здешнее" актуальное для сиюминутной ситуации значение Параллельным формообразующим компонентом для аориста является и формант *\*-s*, формирующий так называемый "сигматический аорист" [Бадер 1988] Показатель "сигматического аориста" присоединяется справа и, если принять идею партикулярного происхождения словоизменяемых флексий, он может быть не только возведен к тому же *\*-s* в показателе имени и других формах глагола, но и быть функционально приравнен к анализировавшемуся выше аугменту  $\acute{\epsilon}$ -

Легко заметить, что практически все приведенные мною выше примеры в той или иной степени связаны с одной и той же синтаксической категорией, а именно – категорией определенности/неопределенности, которая воплощается то в актуальности, то в действительности, но каждый раз сохраняет привязку к ситуации иногда меняя форму и/или позицию актуализатора

Занятия славянскими частицами-партикулами в целом приводят к мысли что эта категория практически является доминантной в диахронии [Николаева 2000] но языковая история закрепляет за каждым Stamm laut этих партикул более узкое значение Это набор из 12 основных консонантов *-b-, v-, -j-, -s-, -z-, -t-, -d-, -k c, m n l* Но каждый раз образованные от них слова коммуникативного фонда (анафорические, дейктические, местоимения и местоименные наречия и т д) содержат в своем основе вопрос-указание *этот? тот? этот или тот? какой? не-этот?* и т д

Знаменем времени в этом отношении можно считать последние работы Н Ю Шведовой [Шведова 1998, 1999], объявившей именно местоимения окнами в мир действительности (ранее идея их функциональной "заместительности" чего то и анафоричности несколько принижала их лингвистический статус)

"Парадигматическая" лингвистика естественно видела все через морфологические очки Возможно, заимствовались и наследовались и парадигмы и формы Но идея о том, что сегодняшняя морфология – это вчерашний синтаксис (и вчерашняя семантика!) может в свою очередь стимулировать обращение к лингвистике непарадигматической

Если процитировать замечательное высказывание В И Абаева о том что каждый язык в своей грамматической и лексической структуре влачит в десемантизированном

<sup>20</sup> Вообще исчисление всех типов семантики глагольного вида среди которых многими авторами упоминается и аористная составляющая, сильно отвлекло бы от обсуждаемой в настоящей статье темы Наиболее подробно все трудности в толковании семантики вида глагола на современном этапе изложены в книге [Гловинская 2001]

виде обрывки и ключья мировоззрений прошлого, в сильнейшей степени замаскированные и перелутанные процессами технизации" [Абаев 1995: 61], то, как кажется можно предположить, что его высказывание относится во многом к формальным парадигматическим различиям, диахроническим реликтам и т.д. Идея скрытой памяти – в том, что она не "десемантизирована" и не представлена "обрывками и ключьями", а где-то подспудно влияет на речевую деятельность.

Конечно, принять решение в этом смысле очень сложно. Так, например, кажется очевидным, что таким актуализатором, привязкой к настоящему, является *\*i* в первичных окончаниях и -е глагола (*\*-mi, \*si, \*-ti*) в отличие от "вторичных", где это *i* исчезает (*\*m, \*s, \*t*). Но что это за *i*? Как оно связано с другими, фонетическими ему близкими элементами формы слова и высказывания? Известно, что *\*i* в свою очередь представлено во флексиях имени (*\*Gen, Plur* и т.д.). Известно также, что именно оно модифицирует основу, создавая флексии. Например, все филологи знают, что форма дательного у существительных женского рода (ѣ) восходит к сочетанию с *\*i > \*zena + i > женѣ*. Но что это за *i*? И почему в одном случае дифтонг находится под восходящей мелодикой, а в другом – под нисходящей? Очевидно, что разгадка таится в неизвестной пока диахронической синтагматике.

Вяч. Вс. Иванов в уже указанной работе [Иванов 1979] показывает, что и -е партикулы могут в разных языках и разных диахронических слоях менять свою позиционную привязку. Известно, что в современном русском есть некоторая частица (*?*) *и*, которая обычно а) стоит перед глаголом, б) влияет на акцентированность глагола, делая его просодически выделенным, в) создает семантику подтверждения-совершенности – легкого возражения коммуниканту – *Вы бы поехали в Икею – Я там и купила, Ему нужно продавать компьютеры – Он и продает их*. В книге [Николаева 1985] такое *и* было названо определенным артиклем при глаголе. Однако, нужно сказать, что оно же может быть при наречии или в целом при обстоятельственной группе – *По-моему, там дешевле – Это и здесь недорого* и под. Очевидно, это неясное *i* ждет детального разбора, стратификации случаев и их классификации.

4. Постараемся привести пример на указанный выше третий подвид скрытой памяти. Речь пойдет о так называемом "неоштокавском" сдвиге в расположении сербского словесного ударения, произошедшем примерно в XV веке на территории штокавских диалектов. Суть его в том, что старая штокавская акцентуация знала два акцента: долгий и краткий. В XV в. два старых акцента – долгий нисходящий и краткий нисходящий – передвинулись на слог к началу слога и создали долгий восходящий и краткий восходящий. Инициальные же акценты, долгий нисходящий и краткий нисходящий, оставались на своих старых позициях. Таким образом, конечный слог в сербском языке потерял способность быть подударным.<sup>21</sup>

Экспериментальный анализ просодии языков Балканского союза, проведенный и описанный мною [Николаева 1996], выявил, в частности, семь терминальных восходящих контуров, характерных для всех языков Балкан и различающихся по тому, какова ритмическая структура слова – носителя фразового ударения, то есть, говоря иначе, где в этом слове расположено ударение: на последнем слоге (структура  $\overset{\frown}{\quad}$ ) или на начальном (структура  $\overset{\frown}{\quad}$ ). В первом случае выбирается для общего вопроса фигура с терминальным повышением мелодики, во втором – фигура с дугообразным понижением после повышения. Оказалось, что сербский язык (точнее дикторы-носители современного сербского языка) при "новых", сдвинутых к началу, акцентах регулярно выбирает ту фигуру, где в остальных языках представлено окончательное финальное словесное ударение. А в случае инициальных "старых" акцентов, сербский язык выбирает фигуру, где в других языках представлено инициальное словесное ударение.

<sup>21</sup> По этому поводу, как известно, существует много трактовок, так или иначе объясняющих причины этого сдвига. Они приводятся в книге [Николаева 1996], где в свою очередь предлагается некоторая гипотеза о собственно просодических причинах появления этого сдвига.

Таким образом, сербская фразовая интонация как бы "помнит" ситуацию до неоптокавского сдвига, когда новые восходящие акценты могли располагаться в конце слова.

5.1. Как уже говорилось вначале, к проблеме выявления "скрытой памяти" примыкают и смежные проблемы, а именно – проблема автономного существования смысловой языковой универсалии, которая с годами или даже веками хотя и меняет свою языковую "упаковку", но остается в пределах тех же содержательных "потребностей". В этом случае можно сказать, что язык не столько помнит, сколько знает, что он обязан выразить то или иное содержательное противопоставление. В качестве примера можно привести историю выражения подчеркнутой-неподчеркнутой притяжательности, исследовавшуюся на примере посессивного местоимения *свой* [Николаева 1986].

Е.В. Падучевой была предложена стратификация значений этого местоимения [Падучева 1983], согласно которой выделялось 6 типов *свой*, из которых только *свой 1* можно считать собственно посессивным, неокрашенным, а *свой 6* – это субстанция посессивная, но значения *свой 2–5* (2 – 'собственный', 3 – 'дистрибутивный', 4 – 'особый', 5 – 'надлежащий') передают "подчеркнутый" посессив. Мною рассматривались случаи употребления существительного + местоимения *свой* в старославянском тексте<sup>22</sup>. Оказалось, что в этом тексте отношение Суц. + *свой* к *Свой* + Суц. было примерно 10 : 1. Очевидно, что маркированным было сочетание с препозицией посессива. Все примеры с препозицией полностью укладывались в типы *свой 2–5*, по Е.В. Падучевой, т.е. передавали подчеркнутую, окрашенную притяжательность. В греческом же тексте типу *свой 1* (т.е. неокрашенная посессивность) соответствовали формы *αὐτός, σός*, а формам *свой 2–5* соответствовали греческие формы *ἑαυτοῦ, ἑαυτῆς, ἴδιος* (последняя форма была самой частотной). Подчеркнутые формы посессива передавались в греческом тексте не только через указанные лексические различия, но и синтаксически – также через препозицию. Однако нельзя сказать, что старославянский текст точно копирует греческий. Так, к собственно притяжательному в старославянском тексте относится *свой 3* (по Е.В. Падучевой), которое таким образом не выделено как подчеркнутое; в греческом же тексте эта семантика отмечена через препозицию и лексемы окрашенной притяжательности.

В древнерусском языке, судя по данным Картотеки, также было представлено противопоставление подчеркнутой/неподчеркнутой посессивности через препозицию/постпозицию местоимения. Однако в массиве этих текстов выявилась роль и лексической принадлежности определяемого через посессив существительного: препозиция возникает при упоминании о "чужих", не входящих в обыденный круг актанта феноменах и/или при желании явно противопоставить свое – чужому. Явления и предметы близкого окружения как правило представляют постпозитивную позицию посессива. Это слова типа *двор, послы, воевода, ратники, полкы, бояре* и почти всегда – имена родства. Ср. *Наряди же полки свои Всеволод и пущи возы своя за рѣку; И повороти конь Мъстиславъ и съ дружиною своею от стрыя своего; Мы, княже, за тя головы своя съкладываемъ, а ты нынѣ держишь врагы свои и наши просты. Но ср. Юри же ни их посла к ним отпусти, ни своего к ним посла: Видѣвъ же полкы Изяслави король и тако и своим полкомъ повелѣ; И смѣсишася кождо вѣдаетъ свои станъ.*

К XVI вв. начинает происходить смешение и общее правило для этого периода сформулировать трудно. Очевидно, именно к этому времени русский язык начинает входить в зону универсалий Дж. Гринберга [Гринберг 1970], а именно: универсалий 17, 18, 19, согласно которым постпозиция определяющего слова характерна для языков

<sup>22</sup> Анализировался текст Марииинского евангелия (глаголический памятник XI в. Марииинское четвероевангелие – Codex Bezae Cantabrigiae, изданный В. Ягичем в 1883 г.).

строю VSO (универсалия 17), но если описательное прилагательное предшествует существительному, то и местоимения следуют их примеру (универсалия 18) и это правило не имеет исключений. Однако если даже прилагательное и следует за существительным, то небольшое число их может всегда предшествовать существительному (универсалия 19). Весь этот процесс означал ломку синтаксической системы русского языка. Вначале выход из положения находится при помощи лексических средств: в XVIII в. в словосочетание с подчеркнутой посессивностью вводится слово *собственный*: *Пользы ваша мнѣ приятнѣе своей собственной; Определиаъ онъ мнѣ двухъ человекъ своихъ собственныхъ к моимъ услугамъ; Пизистатъ любилъ дочь Перопы какъ собственную свою* и т.д. Затем происходит как бы перверсия основного первичного правила: именно при передаче подчеркнутой посессивности местоимение отходит вправо: ср. *У него свой дом* и *Дом у него свой*. Вводится и акцентный фактор, при котором порядок слов можно не менять, но подчеркнутая посессивность выделяется просодическими средствами: *У него своя машина* и *У него своя машина*. Таким образом, даже на этом небольшом примере можно видеть, что язык не забывает своего содержательного задания и, все время меняя средства его выражения и приспособляясь к игу диахронических универсалий, каждый раз находит способ это задание выполнить.

5.2. Интересный материал в этом смысле представляет собой корреляция формы/содержания комплексов частиц в индоевропейских языках древности и современности. В ряде случаев буквальный "словарный" перевод не говорит нам о каких-либо совпадениях и в плане выражения, и в плане содержания, но внимательный анализ этих комплексов "по элементам" демонстрирует такое же, как и для *свой*, сохранение смыслового задания.

Например, ведийская частица *сапа* переводится как 'даже', но состоит из двух элементарных частиц: *са* 'и' + *па* (отрицательная частица, *не-*) см. [Елизаренкова 1982: 406]. То есть по составляющим – это русское *и + не*. И, действительно, мы находим именно такую конструкцию в русском языке: *И не думайте! И не воображайте* и т.д., где есть значение 'даже'. Другой пример: вед. *ша < и 'же' + та 'то'*. А это – структура *же + то*, отличающаяся от нашего *тоже* линейным порядком тех же смысловых элементов<sup>23</sup>. Не всегда чисто формальное совпадение "по компонентам" дает абсолютное совпадение смысловое. Например литовское *ôgi* формально состоит из *ô* 'а' и *gi* 'же', то есть должно по значению совпадать с *аже*, но имеет значение 'тоже'.

Итак, комплекс частиц может совпадать по плану выражения, но не по плану содержания, но может совпадать по плану содержания, составляясь из частиц, формально отличных от частиц в языках-потомках (или языках близких генетически). Таким образом, в языке реализуется проходящее сквозь время смысловое задание, которое язык "помнит". Например, в русском языке слова *только* и *один* по происхождению разные, но они совпадают в передаче значения единственности, исключительности. Но при этом семантика угрозы, предупреждения передается, скорее, через *только*: *Только попробуй!*, а семантика, описываемая как 'и ничего более' – через *один*. Те же модели находим в латышском: *Pameg'ini tikai!*, то есть *Попробуй только!*, а также *To zināja tikai viņš* "Это знал только он". Но *Te aug priedes vien*, что значит "Тут растут только сосны", т.е. одни только сосны, где *vien* = *один*.

6. В большинстве приведенных примеров речь идет о незабытой языком содержательной установке, в основном, актуализированного плана. Но есть, подводя итоги, можно сказать, что – в том или ином облике – в статье затронуты следующие

<sup>23</sup> Разумеется, необходимо сказать о том, что ситуация здесь упрощается, так как ведийские частицы (как и русские, впрочем) имели множество близких значений, образуя – каждая – нечто вроде смыслового поля, передача элементов этого поля через реальные слова-частицы же означает упрощение ситуации.

содержательные компоненты 1) подчеркивание, связанное с вынесением 'вперед' 2) противопоставление и 3) актуализация по отношению к ситуации "здесь и сейчас" Постепенно подобные явления начинают привлекать лингвистов Можно с осторожностью высказать предположение о том, что сейчас наблюдается общий сдвиг лингвистической парадигмы (в смысле Т Куна) в сторону синтагматических явлений, а диахроническая синтагматика настойчиво требует своей реконструкции Таким образом, за реконструкцией "скрытой памяти" в обсуждавшихся выше примерах просвечивает более общая идея о реконструкции первичных диффузных по значению элементов коммуникативного фонда и о столь же диффузных грамматических элементах знаменательного фонда, присоединявшихся друг к другу (правда, если принять высказанную выше гипотезу В Н Топорова о \*-*ten*, то эти элементы могли переходить друг в друга) При этом значимым фактором являлась прежде всего позиция этих элементов по отношению друг к другу и по отношению к высказыванию Слабым и/или уязвимым местом предложенной позиции является опора на первичное сочетание именно значимых элементов языка и тем самым в ней не остается места для чисто формальных компонентов, объяснения и интерпретации не требующих Можно также признаться в том, что за предложенными рассуждениями стоит не-парадигматический взгляд на раннее развитие языка

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абаев В И* 1995 – Понятия идеосемантики // В И Абаев Избранные труды Т 2 Общее и сравнительное языкознание Владикавказ, 1995
- Бадер Ф* 1988 – Флексии сигматического аориста // Новое в зарубежной лингвистике Вып XXI, М., 1988
- Бенвенист Э* 1974 – Природа местоимений // Э Бенвенист Общая лингвистика М., 1974
- Брейяр Ж, Фужерон И* 2001 – Когда Я нужно? // Известия РАН Серия литературы и языка, т 60, 2001, № 4
- Васильева Шведе О К* 1948 – Курс испанского языка М., 1948
- Гловинская М Я* 2001 – Многозначность и синонимия в видео временной системе русского глагола М., 2001
- Гринберг и др* 1970 – Гринберг Дж Осгуд Ч Дженкинс Дж, Меморандум о языковых универсалиях // Новое в лингвистике Вып 5 М., 1970
- Добродомов И Г* 2002 – Еще раз об исторической памяти в языке // ВЯ 2002, № 2
- Ефимова В С* 2002 – Местоимение первого лица в древнейших славянских текстах // Славяноведение 2002 № 4
- Елизаренкова Т* 1982 – Грамматика ведийского языка М., 1982
- Зализняк А А* 1955 – Древненовгородский диалект М., 1995
- Золотова Г А* 2000 – Понятие личности/безличности и его интерпретации // Russian linguistics, V 24, 2000
- Золотова Г А* 2002 – Категории времени и вида с точки зрения текста // ВЯ, 2002 № 3
- Иванов Вяч Вс* 1979 – Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // Balcanica Лингвистические исследования М 1979
- Иванов Вяч Вс* 1979а – Сравнительно-исторический анализ категории определенности неопределенности в славянских, балтийских и древнебалканских языках в свете индоевропеистики и ностратики // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках М., 1979
- Иванов Вяч Вс* 1989 – Новые наблюдения над индоевропейской акцентологией // Славянское и балканское языкознание Просодия М., 1989
- Красухин К Г* 2001 – Некоторые особенности микенского синтаксиса // Язык и культура Факты и ценности К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова М., 2001
- Мейе А* 1938 – Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков М Л., 1938
- Николаева Т М* 1985 – Функции частиц в высказывании М., 1985
- Николаева Т М* 1986 – Единичное и универсальное в типологической проблематике // Вессоюзная научно-практическая школа по сопоставительному и типологическому языкознанию Звенигород, 1986



- Николаева Т М* 1986а – Средства различения посессивных значений языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // Славянское и балканское языкознание Проблемы диалектологии Категория посессивности М, 1986
- Николаева Т М* 1996 – Просодия Балкан М, 1996
- Николаева Т М Фужерон И* 1999 – Некоторые соображения по поводу категории усту пительности // ВЯ 1999 № 1
- Николаева Т М* 2000 – О возможной древнейшей (славянской – ?) синтаксической категории – гипотетически // Res linguistica М, 2000
- Николаева Т М* 2001 – Многомерность интонационного пространства и ограниченность его отображения // Русский язык в научном освещении 2002, № 3
- Падучева Е В* 1983 – Местоимение свой и его непряжательные значения // Категория притяжательности в славянских и балканских языках Тезисы совещания М, 1983
- Поленова Г Т* 2000 – К истокам индоевропейских и енисейских личных глагольных пока зателей // Проблемы изучения дальнего родства языков на рубеже третьего тысячелетия Доклады и тезисы международной конференции М, 2000
- Рыко А И* 2000 – Семантическое распределение 3-го лица презенса // Балто-славянские исследования 1998–1999 XVI, М 2000
- Савченко А Н* 1960 – Проблема происхождения личных окончаний глагола в индоевропейском языке Ростов-на-Дону, 1960
- Семереньи О* 1980 – Введение в сравнительное языкознание М 1980
- Степанов Ю С* 1989 – Индоевропейское предложение М, 1989
- Степанов Ю С* 1995 – Баба Яга Яма Янус Ясон и другие К вопросу о 'нестрогом сравнительно-историческом методе // ВЯ 1995 № 5
- Топоров В Н* 1992 – Из индоевропейской этимологии 1У (1) И -е \*eg'h-om (\*He-g'h om) \*ten 1 Sg Prop pers // Этимология 1988–1990 М, 1992
- Тронский И М* 2001 – Историческая грамматика латинского языка М, 2001
- Шведова Н Ю* 1998 – Местоимение и смысл Класс русских местоимений и открываемые ими смысловые пространства М, 1998
- Шведова Н Ю* 1999 – Теоретические результаты, полученные в работе над 'Русским семанти ческим словарем // ВЯ 1999 № 1
- Шилдс К* 1988 – Некоторые замечания о раннеиндоевропейской именной флексии // Новое в зарубежной лингвистике Вып XXI, М, 1988
- Шмалышиг В* 1988 – Морфология глагола // Новое в зарубежной лингвистике Вып XXI М, 1988
- Шмидт К Х* 1995 – К вопросу о личных местоимениях и категории лица в картвельском и индоевропейском // ВЯ 1995 № 5
- Эдельман Д И* 2001 – К реконструкции праиранского предложения // Язык и культура Факты и ценности К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова М, 2001
- Эрну А* 1950 – Историческая морфология латинского языка М, 1950
- ЭССЯ* 1974 – Этимологический словарь славянских языков Праславянский лексический фонд Вып 1 М, 1974
- Яковлева Е С* 1998 – О понятии 'культурная память" в применении к семантике слова // ВЯ 1998 № 3
- Allaona A* 1997 – Sur les pronoms personnels questions d'autonomie primitive // Acta Orientalia Societates Orientales Danica Fennica Norvegica Svecica, 1997, LY111
- Breuillaid I, Fougeron I* 2001 – Avec ou sans я // Русский язык пересекая границы Дубна, 2001
- Gonda J* 1954–1955 The original character of the Indo-European relative pronoun \*jo- // Lingua V 4, 1 1954–1955
- Helmbrecht I* 1999 – The typology of 1st person marking and its cognitive background // Cultural, Psychological and Typological issues in Cognitive linguistics Amsterdam, Philadelphia, 1999
- Nilsson B* 1982 – Personal pronouns in Russian and Polish A study of their communicative function and placement in the sentence Stockholm 1982
- Palander-Colin M* 1998 – Grammaticalization of I THINK and METHINKS in Late Middle and Early Modern English // Neophilologische Mitteilungen, 1998, XCIX, 4
- Shields K* 1997 – On the pronominal origin of the I-E athematic verbal suffixes // The journal of Indo-European studies, 1997 V 25 № 1–2
- Shields K* 1998 – Comments on the evolution of the Indo-European personal pronoun system // Historische Sprachforschung (Historical linguistics) 1998 Bd 111, Hf 1